I

«Апартаменты — это для буржуа...»

«Huit, rue Tsiolkovski»*. Я отчетливо расслышал в телефоне адрес, все, кроме квартиры, поэтому переспросил:

— Appartement numéro?..**

На том конце провода воцарилось молчание. Как сейчас помню тот телефонный аппарат, с которого звонил. Ярко-красного цвета, с вращающимся диском, в народе его называли «тюльпаном» — по имени польского производителя: Telkom Tulipan. Такой роскошный телефон был далеко не у всех. В трубке зашуршало, и он сказал:

— Quarante-trois***.

Он произнес это с абсолютно парижским прононсом — гортанным, протяжным, при котором слова

* Улица Циолковского, дом восемь (*фр.*). — *Прим. ред.*

** Апартаменты номер?.. (*фр.*). — *Прим. ред.*

*** Сорок три (*фр.*). — *Прим. ред.*

клубились, грассировали в горле, а затем легко и свободно слетали с полураскрытых губ… Слышалась в этом выговоре горделивая небрежность парижан былых времен XVII округа. Голос в трубке смахивал на голоса со старинных виниловых пластинок или героев фильма Марселя Карне. А уж французский, звучащий в небольшом городке советской Украины в 1981 году, — вещь совершенно необычная. С этого момента Гастон меня заинтриговал.

Гастон сообщил, что всю неделю работает и поэтому приглашает меня к себе домой в следующее воскресенье.

Жил он в небольшой квартире пятиэтажного дома из белого силикатного кирпича, который беспорядочно обступили березы, ивы, акации и тополя. От былых клумб оставались лишь разбитые бордюры. Тротуар, проезжая часть и дикорастущая трава слились воедино, и только стихийные пешеходные тропинки и следы шин перерезали это пространство. Лужи оживляли картину двора. Перед каждым подъездом стояли напротив друг друга две скамейки, где дежурили местные кумушки. В поисках нужного подъезда я обратился к ним:

— Где живет Любовь Ивановна? Семья Климовых.

По глазам одной было видно, что она не понимает, о ком речь. Но соседка ткнула ее локтем в бок:

— Гастонша же.

«Гастонша»! Я попал по адресу.

Гастона я застал в семейном кругу: жена Любовь, Люба, один из сыновей и внуки.

— Хоть бы предупредил, — упрекнула Люба. — Твой земляк — и у нас в гостях!

И правда, такого еще никогда не случалось.

Гастон улыбнулся и повернулся ко мне:

— По телефону я не поверил, что вы француз. Я подумал, что вам просто захотелось попрактиковаться со мною в языке. Ну, студент, например, мало ли я таких видал.

— Но… почему?

— Вы спросили про квартиру — апартаменты. Апаааааартаменты (appâârtement — с ударением на протяжное «ааа»), appâârtement — это для буржуа. А рабочие, они живут в квартирах (logement, lôôôgement). — И снова улыбнулся. — Appâârtement, appâârtement… — иронично повторял он.

Он повторял, а я так и видел актрису Арлетти на легендарном мостике канала Сен-Мартен, произносящую слово «атмосфера» — « атмосфэ́р» из фильма «Северный отель» того же Марселя Карне… Самая крылатая реплика французского кино. «Атмосфэр, атмосфэр…» Продолжение напрашивалось само собой: «Не приплетай мне сюда [апартаменты]!» Вместо чего Гастон одарил меня веселым мягким взглядом.

Этот прежний голос Парижа приводил меня в восторг. Скромному люду — жилье, избранным — апартаменты. Гастон оставался в той давней Франции, где *апартаменты* были уделом сильных мира сего: гостиная, вестибюль, кабинет, галерея и все такое.

Так прошла наша первая встреча. Стол был уставлен разными салатами, слабосоленой селедкой, маринованными помидорами и холодными закусками с хреном. Как водится за трапезой, мы рассуждали о еде: что едят здесь, а что — там. О Гастоне я знал

немного — лишь то, что волею судьбы его выбросило из Парижа сюда, на Украину, в конце Второй мировой войны. С тех пор он так и осел «в этом захолустье» (его слова), поневоле отрезанный от родных мест — районов Эпинетт и Батиньоль*, от своего Парижа.

Меня тянуло к Гастону. С каждым приездом в этот город я рвался к нему в гости. Это походило на некий ритуал. Мы встречались и в весенние праздники, особенно на Первомай, когда я ходил на демонстрацию смотреть, как люди исполняют свой общественный долг. Чтобы не разминуться с Гастоном, я вставал среди зевак ниже трибуны руководителей. Над нами нависала фигура главы города, по-нынешнему мэра, это была дама по имени Сталина с высокой — с Эльбрус — прической, похожей на настоящее кондитерское изделие. Из «кондитерского изделия» на ветру вырывались светлые пряди, реявшие на фоне красных флагов. Демонстранты несли на плечах портреты великих апологетов пролетарского труда, написанные маслом: Ленин и Энгельс — суровые, словно вырезанные ножом; Маркс — веселый, с кудрявой бородой, тщательно прописанной тонкой кистью. Гигантские лики плыли над толпой, словно океанские лайнеры по фарватеру.

* Батиньоль когда-то был самостоятельным поселком на окраине Парижа. В 1860 году, в ходе масштабной перестройки столицы при Наполеоне III, он вошел в состав города. В XIX веке Батиньоль отличался насыщенной культурной жизнью: здесь жил художник Эдуард Мане и собирались его единомышленники, вошедшие в историю как группа Батиньоля. Вместе с тем район сохранял народный и рабочий характер — здесь располагались фабрики, мастерские и ремесленные предприятия. Район так и прославился как уникальный сплав сельского прошлого, творческой жизни и рабочего быта. — *Прим. ред.*

Миновав официальные трибуны, шествие постепенно распадалось, сохраняя при этом видимость порядка: школа за школой, учреждение за учреждением, завод за заводом, цех за цехом. Ряды понемногу размыкались, лица очеловечивались, колонны тянулись к возлияниям. Я же ждал цех кинофабрики № 23 — цех Гастона. Наконец он появлялся — жизнерадостный, в вельветовых брюках в крупный рубчик и шерстяной куртке. Многие подходили, пожимали ему руку: «Шарлович», «Шарлович»… Гастон Шарлович. Личность.

II

Зинаида Афанасьевна

В жизни ее звали иначе. Я дал ей другое имя без умысла исказить или представить ее в ложном свете, но с нежностью и без всякого лукавства. Зинаида Афанасьевна любила все и сразу: прозу и поэзию, русский и украинский, книги и кино, доверительную откровенность и общепринятые устои, город и деревню, сало и игристое вино, музыку и науку. Прирожденная сказительница, она превращала любой рассказ в полноценное повествование: детские воспоминания, способ изготовления в деревенских условиях сливочного масла, каждодневные проблемы на работе, любые эмоции, физическая боль, случайная встреча — все в ее устах обретало объем и краски. В те доинтернетовские времена она писала письма, наполненные сочными образами. Нередко в лирическом порыве изъяснялась стихами.

Она умела играть на цыганской семиструнной гитаре, водить мотоцикл, управлять автомобилем. Все,

что она делала сейчас или когда-либо, она делала увлеченно, с азартом. Она пела по любому поводу и без. Аккомпанировала себе ложками или тем, что попадалось под руку: мухобойкой ли, рожком для обуви, щеткой для одежды… При этом ее голос взмывал ввысь, не претендуя на чистое, хрустальное звучание. Скорее это был растрепанный, раскрепощенный порыв звуков, от которых требовалось всего три вещи: безудержная свобода, сострадание и душевность. В равной мере им дозволялось быть печальными или радостными.

Если твой зять француз (речь обо мне), то в провинциальном советском городке нужно было иметь, по меткому французскому выражению, le cœur au ventre — «сердце в животе». То есть обладать стойкостью, держаться как корень в земле.

Дорога на работу Зинаиды проходит через рынок. И вот там, среди лотков с яблоками — душистыми, ни с чем не сравнимыми украинскими яблоками, она наталкивается на тетеньку с почты, которая работает на перлюстрации (или на тетю с перлюстрации, которая работает на почте, — поди разберись, как оно у них там устроено).

— О-о-о! Зинаида Афанасьевна, у вас опять письма от французов. Растут же у вас внучки! И фотографии какие красивые… цветные! Одно удовольствие. Да еще и с теплыми словами. Зайдите-ка в отдел — я вам все и отдам. На неделю раньше получите. Конверты можно ведь не заклеивать, да? Заодно посмотрите и мою коронку. И пломбу — вот здесь. — Дама-перлюстратор посреди рынка широко открывает рот, демонстрируя темную бездну своей пасти.

Зинаида Афанасьевна — стоматолог и весь город «держит за зубы». Даже Гастон, сделавший скрытность своим жизненным принципом, был вынужден поведать ей некоторые эпизоды своей жизненной истории. Когда бормашина рычит тебе в лицо, попробуй не отвечать на «допросе». Именно кариес Гастона позволил мне узнать о его эпопее.

Я был нетерпелив в поисках Гастона, торопил Зинаиду. Она покрутила диск своего красного «тюльпана» и дозвонилась до отдела кадров кинофабрики. Теща объяснила, что хочет «поговорить с французом». Разве можно было отказать той, к кому понадобилось бы срочно обратиться с зубной болью? Иначе придется потом часами стоять в поликлинике в смутной надежде получить талон на прием к дантисту. Тогда за Гастоном сходили в цех № 23, и вот я уже как бы очутился в звуковом треке в духе Марселя Карне, где мы выясняли номер квартиры или апартаментов.

Как правило, теща — герой отрицательный, фигура попранная; потянет на целый книжный стеллаж: «500 лучших анекдотов про тещ», «Как избавиться от…» и прочая чепуха.

Но Зинаида была иной: свет, слово и музыка.

III

А места тут селитряные

В начале была пороховая фабрика. Здесь по велению Петра Великого добывали селитру. Собственно, если и знатно это место, то тем, что было основано императорским указом. Поселок окрестили Шосткой — по имени речушки, которая лениво протекает через него к прекрасной Десне, прозванной Очарованной, притоку Днепра. Ни один поэт никогда не воспел ни реку Шостку, ни одноименный городок. Ни один писатель — известный или безвестный. Ни одного кадра в кино, ни одной цитаты. Ни романа, ни песни, ни малейшей лирической аллюзии — ничего. Не существует путеводителя, страницы ли, абзаца, ему посвященных. Есть ли на свете человек, который мог бы сказать: «Я совершил тур в Шостку»? Нигде не прочтешь: «Такой-то великий человек останавливался здесь в такой-то гостинице по дороге туда-то». Нет таких табличек. Шостка девственна по части мифов, легенд,

историй, диковин и туристов. «Захолустье», — говорил Гастон, уроженец парижского квартала Батиньоль, такого рабочего, народного, живого, вдохновлявшего бессчетное множество кинематографистов, романистов, поэтов и певцов.

(Впрочем, я все же несправедлив. Шосткинцы возразили бы словами своего поэта-земляка Андрея Ардашева, издали ностальгирующего по родному городу: *Здесь площади пылают, / А села вымирают / В условиях растерянной страны. / За счет чего — не знаю — / Поселки выживают! / Столицы — столь надменны и важны… / Но даже в дальнем крае / Я Шостку вспоминаю! / И только с самой лучшей стороны!*..)

Из деревни в Сумской области, на севере Украины, советская власть сделала Шостку промышленным городом. Не то чтобы гигантский город, но все же: население подбиралось к ста тысячам. Поскольку город родился из нитрата калия — селитры, — ему суждено было развиваться в химических производствах.

Я застал Шостку на пике ее расцвета. Многие заводы работали на оборонную промышленность, храня верность петровской традиции: производили порох, боеприпасы, реактивы и множество иных скверных вещей — засекреченных. Для пущей загадочности у заводов не было названий — только номера. Говорили: «Я работаю на девятке, на десятке» — и так далее. Порой эти ядовитые предприятия извергали в небо разноцветные клубы, и оно наполнялось сверхъестественными парами с удушливым запахом. Перехватывало горло, невозможно было дышать. Солнце меркло — казалось, вот он, конец света.

Как-то я ехал в переполненном городском автобусе, и вдруг нас накрыло такое облако. Мгновенно в салоне почти ничего не стало видно. Тогда люди — спокойно — достали носовые платки и прикрыли ими рот и нос, как противогазами. Большие такие хлопчатобумажные платки. Тишина и хладнокровие. Какое впечатляющее зрелище…

По этому поводу даже ходил анекдот — какой-то до неприличия мрачный: будто бы в газовую камеру нацистского лагеря загнали узников, а после газовой казни двое выживших бодренько выскочили, и один говорит другому: «Получается, ты тоже из Шостки?»

А весной Шостка неистово покрывалась сочной зеленью. Словно вспоминала, что когда-то, полвека назад, была деревней. Бушующая зелень захлестывала дворы, затапливала улицы, заползала на асфальт, и без того разбитый благодаря морозам, оттепелям, ливням и равнодушию дорожных рабочих. В окрестных селах крестьяне качали березовый сок, а кооперативы торговали им на каждом углу. Тучные женщины в белых халатах продавцов, сидя на стульях посреди мягкой травы, разливали его по кружкам для продажи. После их кое-как ополаскивали и вновь выставляли в ряд на столах; сок тек через подобие сифона голубоватой, журчащей струйкой. Если я и доживу до старости, то лишь благодаря тому, что тогда, в молодости, «подсел» на шосткинский березовый сок. Часто эти же женщины торговали и квасом — древней брагой восточных славян, — хранившимся в цилиндрических бочках-вагончиках на шинах, на задней стенке которых были латунные краники для ро́злива.

Пахло сладковато-дурманящим брожением; мухи и осы кружили тучами. Вместе с ними и у меня начиналось кружение, как кружили по городу маленькие поезда из прицепных желтых бочек с таким весенним словом — «квас».

Описываю женщин тучными не ради эффектного живописания — такова была суровая реальность. Во время гитлеровской оккупации и в послевоенные годы город пережил лютый голод. Многие люди, искалеченные лишениями, — сознательно и подсознательно — ели неистово даже спустя тридцать лет, как бы наверстывая упущенное. Не проходило и дня, чтобы не слышалось: «Надо кушать». Гастон рассказывал о знакомой, каждый божий день которой начинался с яичницы из двадцати яиц с салом. Я удивлялся: а не болеет ли эта дама от таких излишеств? Мой друг отрицательно качал головой — нет, но со временем аукнется — и с истинно парижской гримасой держался за живот. Гастон мастерски, как никто другой, изображал дам, объедавшихся яйцами.

Приобретая городские черты, Шостка заполнялась рабочей силой из ближних сел. Переход от хат и огорода, где постоянно надо было трудиться, быть в движении, к замкнутому пространству квартир-коробок делал людей тучными.

Восхитительными были дворы. В теплое время года жизнь в них буквально кипела. Жильцы высыпали из домов поболтать на «кумушкиных» скамейках, поиграть в домино. Картежников не было — не приведи господь, не зона же! Поливали цветы, копались на клумбах, выбивали ковры, развешивали белье.

По шосткинскому поверью, если хозяйка успевала перед дождем занести простыни сухими, ее поздравляли: муж, значит, любит; если же они были уже с небесной влагой, соседи опускали глаза.

Ни одного вечера не обходилось без гитары — героини компаний тех лет. С наступлением вечера молодежь собиралась в самом темном, самом заросшем, самом таинственном углу и выводила струнные переборы. Громкие возгласы юношеских ломких голосов и острые девичьи смешки сообщали всему кварталу, что все хорошо. Я слышал там вещи подлинно шедевральные — например, «Охота на волков» Владимира Высоцкого …*Обложили меня, обложили — / Но остались ни с чем егеря*…

Порой из открытых окон раздавались властные нотки женских голосов. Ни о каком матриархате, конечно, не могло быть речи, но женщины, с войны несшие на себе основное бремя социальной жизни, держали город под своей «акустической властью».

Даже мэр был женщиной, еще молодой, имя которой само по себе свидетельствовало о времени ее рождения: Сталина Кушнирова. Официально ее должность называлась «председатель исполнительного комитета городского Совета народных депутатов».

Следуя традиционным понятиям — женщина значит цветок, Сталина Кушнирова засадила город розами. Каждой улице — свой цвет. Говорили: «Маленькая Швейцария Украины». Розы были прекрасны. Розы воровали. Ночные патрули охраняли их. В целом получался красивый общественный розарий, который

трогательно диссонировал с типично советской заброшенностью городского пейзажа.

Прическу мэра, о которой я уже писал, также можно было назвать розарием. Полагаю, эта женщина обладала гибким умом, чтобы ладить с теми, кого называли «зубрами», — красными директорами военных заводов. Я прочитал в ленте новостей администрации Шостки, что Сталина умерла в день ввода российских войск на Украину.

Юрий Тынянов считал основной единицей Москвы дом — «…поэтому в Москве много тупиков и переулков. Единица Петербурга — площадь». А какова основная единица Шостки? Пожалуй, зеленые уголки. Зеленое пространство совмещало и парковую регулярность, и анархию: скверы без оград, буйствующие растениями парки, дикие рощицы. И повсюду — открытые эстрады с рядами скамеек, маленькие музыкальные киоски, танцплощадки, беседки, мини-театры под открытым небом, детские площадки с горками, раскрашенными под ракеты, с изображениями Гагарина и героев мультфильмов. Это было очаровательно и грустно: краска облезала, железо ржавело, деревья болели. Из-за телевидения, этого убийцы совместного социального бытия, люди все меньше и меньше пребывали на улице. Словно ночные мотыльки, летящие на свет фонаря, они скучивались у экранов телевизоров, нередко и цветных, в своих квартирках, которые были вовсе не «апартаментами», а, по выражению Гастона, — жильем.

«Народ на улице» — то было по праздникам, когда запускали салют. Не в кафе и не в ресторанах — ходили

друг к другу в гости. В остальное время на улицах танцевали по старинке, пели «Катюшу», романсы, советские хиты. При этом гармонисты как-то особенно прочувствованно обнимали свои хромки.

Кино собирало толпы. Я помню нескончаемый поток зрителей на «Душу» (1981) — музыкальный фильм, в котором певица София Ротару играла саму себя, как бы в ответ на мелодраматическую ленту «Женщина, которая поет», вышедшую двумя годами раньше с другой звездой эстрады. Это был главный культурный спор года. «Все равно что спор Мистенгет с Жозефиной Бейкер*», — подытоживал Гастон.

Печатные афиши не выпускались, кинотеатры нанимали художников, чтобы те специально рисовали красочные анонсы для каждого фильма. В каком-то смысле эти афиши были уникальными и претендовали на звание произведения искусства. Толпы шли и на зарубежные фильмы, приоткрывавшие окно в мир: «Игрушка» с Пьером Ришаром, «Крамер против Крамера» с Дастином Хоффманом, «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано. Зрительный зал дрожал от напряжения и ходил ходуном.

Зинаида позволила мне кататься на ее машине — зеленой ВАЗ-2107. Мы ездили по окрестным селам,

* В «Безумные годы» (Années folles), последовавшие за Первой мировой войной, во французских кабаре прославились две королевы парижского мюзик-холла: Мистенгет (1875–1956) и Жозефина Бейкер (1906–1975). Первая воплощала собой народный образ модной парижанки, вторая — космополитскую, духовно раскрепощенную культуру молодого поколения. Личного конфликта между ними не было, но публика остро воспринимала их эстетическое соперничество — «вечного Парижа» с новизной. — *Прим. ред.*

купались в очарованной Десне, ходили по грибы. Однажды добрались до Чернигова — древнего города Киевской Руси. Но самое сильное впечатление на меня произвел Новгород-Северский: античная жемчужина, воспетая средневековой рукописью «Слово о полку Игореве». К сожалению, город приходил в упадок — со своими заброшенными торговыми рядами, ухабистыми мостовыми и площадями в рытвинах.

Не помню уже, как и благодаря кому у меня появился мопед. «Рига-9». Он бегал хуже, чем оставленный во Франции «Пежо-103», и все же это такая штуковина! На своем «103» я просто ездил, на «Риге» же я ощущал себя путешественником и авантюристом Стивенсоном верхом на осле. Чаще всего я седлал его, чтобы добраться до Воронежа — большого соседнего села, да-да села, не путать с одноименным большим городом. Село находилось примерно в пятнадцати километрах от Шостки, куда я наведывался к родителям Зинаиды. Их дом охраняла волшебная яблоня: пять привоев с разными сроками плодоношения — от самого раннего до самого позднего — были привиты на один подвой, так что дерево плодоносило с июля по октябрь. Более в жизни я никогда не ел яблок вкуснее. Спасибо этим щедрым людям, они приоткрыли мне колхозную жизнь. Воронеж не перерезал пуповину, связывавшую его с языком земли — местным, украинским. Конечно, место было далеко от университетов и нормативного украинского; русскоязычное влияние просачивалось во все. Но, с другой стороны, это село взрастило в начале XIX века основоположника украинского исторического романа — Пантелеймона

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru